
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«Я БУДУ СКАКАТЬ ПО ХОЛМАМ ЗАДРЕМАВШЕЙ ОТЧИЗНЫ»

*...Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.*

«Видения на холме»

◆ В вышедших к юбилею Литературного института им. А. М. Горького «Материалах к библиографическому справочнику...»^{*} Николаю Рубцову посвящено чуть более половины страницы (С. 145—146). Но эти полстраницы содержат емкие отзывы о его поэзии людей, хорошо знавших Рубцова и оценивших его стихи. «В простых элегических стихах Рубцова отразилась его глубокая привязанность к русской деревне с ее церквями: мир техники, города и бездушной цивилизации был ему настолько чужд, что он даже противопоставил его своему миру звезд, воды, берез, тишины и просторов. Он писал по внутреннему убеждению, отклоняя все, что не связано с его собственными радостями и страданиями» (В. Казак). «Он начал с того, к чему поэты приходили после долгих исканий» (А. Урбан).

Е. Евтушенко подчеркивал, что именно ему выпала честь впервые напечатать Рубцова в Москве. А Ю. Минералов дает его краткий, но законченный портрет-характеристику: «...Но под бушлатом билось крестьянское сердце, нежное и ранимое. Колю прозвали Шарфиком, потому что вокруг его худенькой загорелой шеи всегда было намотано что-то пестренькое. Он был поэтом есенинской традиции, больше всего на свете любивший природу, деревню, однако никогда не впадавший в сусальное умиление. Многие из тех, кто стал набиваться в его душеприказчики посмертно, при жизни его недооценивали, иногда и спаивали... Он трагически погиб от руки жены, наверняка не хотевшей его гибели. Но его слова «Я буду жить в своем народе» оправдались... Рубцов — в лучшем смысле национальный поэт. Дело не только в проблематике его стихов, где регулярно поднимаются мотивы судеб России, русской природы, русской истории... Дело и в том, что герой Рубцова несет в себе набор основных черт русского национального характера, национальной психологии».

... И еще краткие факты биографии: архангелогородец, родился в крестьянской семье в поселке Емец, сирото-детдомовец. Далее по жизни: Лесотехнический техникум в вологодской Тотьме окончил в 1951 году, кочегар на рыболовецких судах, опять же на Севере: «Я весь в мазуте и в тавоте, зато работаю в тралфлоте...» И воинская служба там же, на Севере; потом слесарь на ленинградском заводе, учеба в Ли-

^{*} Они учились в Литинституте: 1933—2006. Материалы к библиографическому справочнику студентов дневного и заочного отделений и слушателей Высших курсов Литературного института имени А. М. Горького.— М.: Литературный институт имени А.М. Горького, 2006.— 549 с.

тинституте (семинар поэзии Н. Сидоренко) с исключением «за неправильное поведение» и далее восстановлением на заочном отделении...

При жизни издал четыре небольших сборника стихов, два из них в Москве, в издательстве «Советский писатель». После смерти раз в год-два выходили его книги в том же «Совписе», «Современнике», «Молодой гвардии», в провинциальных издательствах.

...Очень короткая и незамысловатая биография поэта, даже пушкинского возраста не достигшего. Все это, конечно, не сравнимо со значением Рубцова для русской литературы не только какой-то там трети, четверти, а правильнее — десятилетия, двадцатого века, но для русской поэзии и вообще!

*Стукнул по карману — не звенит.
Стукнул по другому — не слышать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать...*

«Элегия»

◆ До поступления на заочное отделение — семинар прозы Б. М. Зубавина, первого главного редактора «Нашего современника» — Литературного института в 1975 году имя Николая Рубцова было для меня как-то «не на слуху». Не потому что сам «чистый» прозаик, хотя бы из написанного имел за душой только требовавшиеся для участия в литинститутском конкурсе 30—40 машинописных страниц и «отстуканные» за оставшийся до подачи заявления в будущую *alma mater* неполный месяц... Нет, здесь сыграл свою роль некий «младовозрастной» максимализм: полагая, что русская поэзия закончилась если не Серебряным веком, то где-то к началу тридцатых годов... Бывает такое.

Зато прибыв на вступительные экзамены и поселившись в достопамятном общежитии Литинститута в одной комнате с почти что земляком, каковыми полагают себя туляки и калужане, поэтом Анатолием Кузьмичевским — его имя и по сей час многие помнят, — тотчас вошел в круг тогдашних поэтических пристрастий, в котором Рубцов едва ли не доминировал.

Поскольку абитура еще не страдала «гвардейским либерализмом» полноправных студентов, то и ходили мы попервоначалу в порядке следования: книжные магазины — винные лавки. А в первых как раз в этот год появились на прилавках рубцовские «Подорожники»*, фактически полное собрание всех его стихов, включая и ранние 1957—1962 гг. А Анатолий, как всякий настоящий поэт, держащий в памяти все прочитанное или услышанное из стихотворного, добавлял из не вошедшего в этот объемный томик:

*Мне поставят памятник
В городе или на селе —
Буду я и каменный навеселе.*

(И я тоже стараюсь цитировать по памяти)

В столицах в оценках личностей всегда преобладал, а ныне и вовсе единственным остался, «бытовой» подтекст. Так и в окололитературных кругах в тот год еще

* Рубцов Н. М. Подорожники. Стихотворения. Сост. и автор предисл. В. Коротаев.— М.: «Молодая гвардия», 1975,— 304 с., ил. Владислава Сергеева (тираж 100 000 экз.).

не улеглись страсти по поводу смерти вологодского поэта; тогда в теленовостях такие вещи не смаковали... «Я умру в крещенские морозы», — предчувствовал поэт. И действительно, в январе родился, в январе (19 января 1971) и покинул этот не лучший из миров, не дотянув до возраста Пушкина. А околелитературный народ все подзуживал: оба из-за жен своих смерть приняли, один на дуэли, другой — задушенный ночью Людмилой Дербиной, с которой он собирался пожениться, за то, что накануне днем в пьяной малости, этакой «есенинщине», на литературном собрании в пух и в прах разделал слабенькие стишата своей подруги... Женщины никому не прощают уязвленного себялюбия, а в ярости теряют свой обычный практицизм. Тоже многоточие следовало бы поставить, да стилистически некорректно.

Еще больше о рубцовской «бытовухе» мы узнавали от истовых вестовщиц литинститутского общежития: едва ли не с самого основания этого фигуристого здания послесталинского ампира трудившихся здесь почтенных возрастом, но зорких и памятливых сторожих-вахтерш, уборщиц и иных по линии коменданта и завхоза. С доброй улыбкой они, сидя на вестибюльных стульчиках и диванчике, рассказывали окружавшим их младшекурсникам о Коле Рубцове. Как, осточертевшись бесконечной пьянкой в «нумерах», выходил он едва не за полночь, усаживался на ступеньке межэтажной лестницы и, растягивая меха гармошки, пел умеренно матерные частушки: «Емца-дрица, цам-царница», то подгонял к протяжным, северного запала мелодиям свои стихи.

И порой дрался, хотя этой самой драчливостью не страдал. Может в памяти добрых вестовщиц, калейдоскопически отображающей череды сменяющихся друг друга будущих «инженеров человеческих душ», на образ Коли накладывались и другие заметные характеры, но, в общем-то, в своих воспоминаниях они были недалеки от истины. И так же охотно эти бабули подтверждали самые эффектные были из общежитской жизни поэта. Наверде той, что произошла с эфиопским князем, едва ли не дальним родственником тогдашнего, казалось, вечного императора православной африканской страны Хайле Селасие Первого — прямого потомка царицы Савской, большого друга Советской страны, как минимум, раз в год приезжавшего в Москву. Как и тогдашний иранский шах. Диссидентствующие на кухонных посиделках столичные интеллигенты подначивали: дескать, обе коронованные особы по очереди приезжают в Москву, чтобы «свести сальдо с бульдо»: перевести накопившиеся в СССР внешнеторговые авуары своих стран на личные счета в Швейцарии...

Насчет иранского шаха Пехлеви народ не сомневался: с начала двадцатых годов еще по ленинскому договору вся северная нефть персидской монархии отгружалась в СССР, но вот что взять с нищей Эфиопии? Называли финики и марганцевую руду, с которой у нас всегда было сложно.

...Вот этот-то князь, решивший, видимо, стать вторым* великим эфиопским поэтом, сдружился с Рубцовым и, что называется, смотрел тому в рот, возил друга Николая на взятом в посольстве «форде» по Москве, не избегая питейных заведений. Неизвестно, как Рубцов, не знавший эфиопского, равно как и любых других иностранных языков, смог оценить качество стихов князя (а В. Брюсов в «Фиалках в тигеле» прямо говорил, что переводные стихи принадлежат не автору, но сугубо переводчику), но, как позже своей гражданской жене Дербиной, так и дружественному эфиопу сказал все, что он думает о его невенценосной музе. Воспитанный князь не стал душить Николая, но, высадив того, с налету врезал посольский «форд» в правый угол литинститутской общаги.

Услышавшие эту увлекательную историю начинающие студиозусы со внимани-

* Знающие люди утверждают, что в Адис-Абебе поставили памятник Пушкину с надписью, что-де это великий эфиопский поэт...

регу, но на боевом эсминце «Острый», а до этого — в тралфлоте, где все «в мазуте и в товоте». Да еще учеба в двух техникумах и Литинституте... впрочем, о последнем скромно умолчим (см. выше).

Рискнем предположить, а скорее всего скажем очевидное. Предельное вольнолюбие, отсутствие лицемерия, осторожности, предвзятости, смена упорной работы над стихами таким безоглядным гулеванием, в то же время душевная щедрость и доброта — словом все, что принято называть истинным русским характером — воплотилось в Рубцове:

*Но я глухим брэнчанием монет
Прервал ее старинные виденья...
— Господь с тобой! Мы денег не берем!
— Что ж,— говорю,— желаю вам здоровья!
За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью...*

«Русский огонек»

Но здесь следует усилить, так сказать, этнографический момент, ведь поэт из потомственных обитателей русского Севера, архангельских поморов, то есть людей, никогда не знавших крепостного права, с наследием новгородской вольницы, крепких общинников-коллективистов. Так что в двадцатые годы, не имея сопротивления в лице столь же полно отсутствующего класса кулачества и нахлебников из числа также не имевшихся крестьян-бедняков советской власти для юридического оформления фактически существовавших коллективных хозяйств потребовалось только избрать председателей и раздать им каучуковые печати... Так и моего дядьку по матери Михайлу (Мишко по-архангелогородски) в неполные двадцать лет, даже еще не партийца, а только «космополиста», назначили председателем колхоза в Каргополье.

И еще одна *nota bene* по части этнографии тех мест, о чем мы уже писали в «Колонке», посвященной 200-летию М. Ю. Лермонтова. Это об усилении вольнолюбия и связанных с ним черт характера коренных насельников архангельского Севера примесью шотландской крови, не менее несущей гены свободолюбия: полностью ассимилировавшийся десяток тысяч шотландцев-протестантов был переселен в архангельский край царем Алексеем Михайловичем... Такая вот степенно-гремучая смесь получилась, что дала России и ее «первого Невтона» из Холмогор (от варяжского Хольмгард, кстати), исследователей Ледовитого океана и, конечно, плеяду выдающихся поэтов: того же Рубцова, Александра Яшина и далее по нисходящей во времени...

И как Михайла Ломоносов, не сдерживал себя во гневе, лупил по мордасам своих коллег-академиков из немцев, так и Рубцов, не терпевший стихотворной немощи, резал правду-матку и эфиопскому князю, и своей морганастической супруге... Себе он цену знал, но если и бахвалился, то шутейски: «Мне поставят памятник...» А так писал серьезно:

*Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест,
Каждому на Руси
Памятник — добрый крест!*

«Плыть, плыть...»

...И ничего такого сверхординарного в мыслях любого значимого поэта о памятнике — не себе, но своему творчеству! — нет. В русской поэзии это даже устано-

вившаяся традиция — от Державина и Пушкина. О своем же памятнике Рубцов наиболее пронзительно сказал в коротком стихотворении без названия:

*Я переписывать не стану
Из книги Тютчева и Фета,
Я даже слушать перестану
Того же Тютчева и Фета,
И я придумывать не стану
Себя особого, Рубцова,
За это верить перестану
В того же самого Рубцова,
Но я у Тютчева и Фета
Проверю искреннее слово,
Чтоб книгу Тютчева и Фета
Продолжить книгою Рубцова!..*

◆ Не только Тютчева и Фета, но Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Есенина, Дмитрия Кедрина, своего современника Анциферова полагал Рубцов своими учителями, не преминув посвятить каждому из них стихотворение, а кому и более, как Тютчеву и Есенину. И вологодскому классику В. Белову подарил он одно из лучших своих стихотворений «Тихая моя родина», а памяти Александра Яшина — «Последний пароход»: «...А он, большой, на борт облокотясь,— Он, написавший столько мудрых книжек...»

Стоит заметить, что у классиков и современников Рубцов учился не только сочинению образов и троп поэзии, но и литературному русскому языку. Все дело в том, что северный, особенно архангелогородский, существенно отличается от московского — «стандарта» русской грамматики, в первую очередь — фонетики: обилие «цоканий» и «еканий». Шутники говорят, что когда, вернувшись из путешествия «по европам», Карамзин, подражая языку французскому, ввел в обиход французскую же букву «ё» (см. «*citroën*» и пр.), тем самым безвозвратно испортив фонетику русского языка, для которого фонема «ё» доселе была абсолютно чужда, что-де Николай Михайлович, тезка Рубцова, отдал предпочтение северному диалекту перед московской нормой разговорного и литературного языка... да еще и гордился этим нововведением *a la france!*

А что такое северный говор, в ареале которого вырос Рубцов, автор этой «Колонки» очень хорошо представляет. Моя мать, родом из тех же мест, переехав уже взрослой в мурманское Заполярье, а еще точнее — во «владения» Северного флота, где говорят исключительно по-московски, рассказывала мне, что года два «училась русскому языку»...

Сказанное выше отнюдь не штришок «второй степени важности», ибо специфика поэтического творчества, что его, повторимся, образы и тропы не допускают диалектизмов — если только таковые не несут определенную служебную нагрузку. А способ избавиться от врожденно-воспитанной диалектной речи и мышления существует только один: читать и перечитывать русскую классику; для поэта — понятно, поэтическую. По воспоминаниям самого Рубцова и знавших его, Николай в юности, да и во взрослой жизни читал очень много. Отсюда и грамотность его произведений... чего никак нельзя сказать о многоликой, «расползающейся», но малограмотной поэзии наших дней... Не в укор, но в поставление примера будь сказано.

И еще раз повторимся, говоря о поэтической памяти Рубцова, которая у него была великолепной, что, вообще говоря, свойственно для неспешной, несуетной и созерцательной жизни жителей русского Севера... сейчас и их испортили «гэйджики»,

многопрограммное телевидение и общее нынешнее российское жизненное неустройство. Но — это к слову, Рубцов всего этого не застал.

Здесь классическим примером такой северной памяти на ритмику и певучесть некогда сказанных слов является заново обретенная «Калевала» — карело-финский* эпос, первенствующий в мире в числе таковых по своей художественной законченности и образности. Текст «Калевалы», состоящий из более полусотни рун (глав), общим объемом — в современных изданиях — под солидный том, полагался безвозмездно утраченным, пока в первой трети девятнадцатого века шведско-финский поэт и фольклорист Э. Лёнрот не встретил в глухой деревушке близ беломорского берега Карелии, тогда Олонецкой губернии, старушку, которая помнила все руны «Калевалы» в их последовательности развития сюжета! ... Правда, сто с лишним лет спустя, в 1949 году, член ЦК КПСС, главный идеолог СССР (до Суслова) и автор канонических учебников по марксизму-ленинизму Отто Вильгельмович Куусинен сделал новую композицию эпоса — по образцу современных карельских народных эпических песен.

*Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.*

«Про зайца»

◆ Николай Рубцов, как тот мазаев заяц, волею судеб и времен стал последним поэтом русской деревни. Хотя бы даже и писал («Грани»):

*Но хочется как-то сразу
Жить в городе и в селе.
.....
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...*

Дело-то не в месте обитания, ведь Рубцов и по морям походил, а собственно деревенской жизни у него только детство и отрочество, да и то Няндомы — какой-никакой, но городок, а сельский детдом — вовсе не родная изба с русской печью и овцами-козами на дворе...

В чем отличие, скажем так, условно «деревенского» поэта от не менее условного «городского»? Конечно, не по месту проживания, как мы только что сказали. Кстати, и в рецензии на мою дипломную работу в Литинституте — она же и первая опубликованная книга «На островах»** мне было дано известным литератором определение: крайне левый «деревенщик». Хотя бы я никогда в деревне не жил...

Все дело в смешении понятий, когда этимология слова подменяется устоявшимся эвфемизмом. И, понимая это, все ставишь на свои места: городская поэзия, суть уже отошедшая от своих патриархальных, деревенских первоисточников. И этим все сказано: Рубцов, как поэт русской деревни, не отошел слишком далеко и безвозвратно от этих первоисточников, что цепью держит творческого человека, пытая его самобытность своими соками вековых традиций, образов и слов.

* Разъединение некогда единого народа суоми на карел и финнов — сугубо дело исторической политики: карелы с новгородских времен входили в состав Руси-России, а Финляндия вплоть до новейшего времени находилась «под шведом». Но язык остался общим: финским.

** Тула, Приокское книжное издательство, 1987.

В таком смысле самобытность Рубцова несомненна, как и справедливо утверждение: он был последним поэтом русской деревни, понимаемой, как сказано выше, расширенно. Конечно, были и позже его, и по сей час есть поэты, пишущие от просторов полей и «холмов задремавшей отчизны», и в «Приокских зорях» мы их охотно печатаем, но уже не являлось на русской земле такого самобытного поэтического таланта, такой исподволь бившей мощи образного и невычурного слова:

*Спасибо, скромный русский огонек,
За то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далек,
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле — и нет тебе покоя...*

«Русский огонек»

...Не так уж много опубликовано воспоминаний о Рубцове, мало и оценок его творчества — и все это, что называется, как-то «не на виду» широкой литературной и читающей общественности. Во всяком случае, на каналах телевидения, на той же «Культуре» не ведутся о нем многочасовые мудреные беседы, диалоги и монологи матерых и записных оценщиков всевозможных искусств и творчеств, обычно говорящие все одновременно, как на одесском базаре... Но и в доступных читательской аудитории воспоминаниях и оценках творчества и личности Рубцова, все одинаково отмечают, как бы это сказать? — внеполитичность его стихов, а главное — полное незамечание всего того, что укрупненно называют урбанизацией. И действительно, вовсе не противопоставляя город и деревню (см. чуть выше выделенные строфы из «Граней»), поэт в мыслях и стихах своих поэт бесконечно далек ... нет, не то слово — удален от цивилизации, символом которой привычно полагается город, городская жизнь и вообще вся наша техногенная инфраструктура. И характеры «обслуживающих» ее людей мало интересуют Рубцова-поэта.

*Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты.*

«Земные (?) цветы»

◆ Как-то даже неловко, говоря о стихах Рубцова, оттенять образность и нарядность его поэтического языка. Это как входить в дежурную роль учительницы литературы, привычно, по пунктам наробразовской программы, «разбирающей» творчество означенного в учебнике поэта... Каждый помнит по ученическим годам эту «обязаловку», навевавшую почтительную (к имени автора) скуку

Поэтами рождаются, а не становятся. Справедливость этой «перевернутой» крылатой фразы редко кто возьмется оспаривать. Конечно, генетически обусловленное начало присутствует и у писателя-прозаика, но поэт все же стоит особняком. Пушкин бы состоялся в своем высшем ранге и без Арины Родионовны, как состоялся и детдомовец Рубцов, где эта добрая сказочница и близко не проходила... Тем более что бесконечно далеки от царскосельской, лицейской творческой атмосферы были команды судов архангельского тралфлота и кораблей военно-морского флота, контин-

гент учащихся техникумов, заводских работяг. Опять же уклончиво промолчим про общежитие Литинститута... Не про сам институт, конечно.

...Как никто, кроме нашего великого Поэта, не смог бы парой строк «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник» заявить о своем поэтическом первородстве, так и вся образность, народность, самобытность Рубцова вмещается в единую строфу:

*В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...*

«В горнице»

◆ Казалось бы: где Рубцов и где наша современность? Если первый суть исторический национальный характер, воплотившийся в жемчужине истинной народной поэзии, то перманентная современная жизнь показалась бы ему чеховской шестой палатой. Здесь даже и на Рубцова ссылаться не надо. Для всякого среднестаршего, самодостаточно, то есть без телевизора и дьявольского изобретения — интернета, мыслящего человека на исходе третьей капиталистическо-глобалистской пятилетки нового века и тысячелетия наш современник новейших генераций смотрится почти что идиотом, обвешанным гэджиками, работающим (здесь воистину от слова «раб»!) офисным «менеджером» или офисной «креветкой» — различие в наименованиях только по признаку пола, по принципу тусовки — не хуже, чем у Васьки, полностью выкладывающимся с единой целью: купить машину позабористее на вид и по числу лошадиных сил, вовсе и не нужных для толчеи в городских пробках...

Но, как ни странно на первый взгляд, имя Рубцова помнят не только упомянутые выше среднестаршие, но, хотя бы понаслышке знают те из ровесников новой эпохи, кто хотя бы и изредка, но читает стихи. Во всяком случае, мой экземпляр «Подорожников» почти постоянно у кого-то из знакомцев на руках. А это не так уж плохо для нынешнего нигилистического для художественного слова малоуютного времени.— Времени пира во время чумы, времени пляски на гробах, времени скорого сбывания оруэлловского «1984». Это и внушает определенный, но очень осторожный, оптимизм.

Но совершенно невозможно представить себе житие Рубцова сейчас, когда исчезло напрочь понятие авторитета, а уважение таланта полярно заменилось на предельную зависть и недоброжелательство ко всякому, кто в силу своего дарования хоть на промилле (это не по части молодцов-гаишников...) выделился из безликой серой массы*. И если поэт не сумели-таки спойти при его тогдашней жизни (см. выше слова А. Ю. Минералова), то сейчас мелкотравчатые коллеги от расплодившейся мелкотравчатой поэтической музыки убили бы его единодушным заговором молчания.

Кстати, как спаивали даже в те малозавистливые, «золотые» советские семидесятые годы, хорошо помню по быту общежития Литинститута. Разгар весенней сессии; в комнате слева земляки-куряне «накачивали» приехавшего в столицу и заглянувшего в общагу на огонек известного поэта Николая Тряпкина, и без того серьезно больного человека... А в комнате справа уже моего земляка (из Новомосковска Тульской области), пожалуй, лучшего таланта тульской земли тех лет Володи Суворова уже с успехом «накачали». И это, что называется, в своем кругу, но ведь никуда и никогда не исчезал класс «профессиональных» недоброжелателей?

* См. соответствующие художественные образы в книге: Алексей Яшин. Административный восторг, или Картинки с выставки. Роман-новелино.— М.: «Московский Парнас», 2014.— 327 с. (Книга также размещена на сайте <http://www.pz.tula.ru>.)

Но — достаточно о печальном. Светлая грусть Рубцова, пронизывающая всю его поэзию, пусть останется и с нами, как сугубая генетическая память души и сердца по великому, значимому русскому прошлому, которое и сейчас, в зловещую эпоху мирового безумия, все стремится и стремится хоть в чем-то возродиться, когда волею судеб и обстоятельств иногда и промелькнет лучик неизбывной надежды. Тем и живет коренной русский человек: память отцов суть воспоминание о будущем его детей, внуков, правнуков...



В. Сергеев. Иллюстрации к книге «Подорожники» (М., «Молодая гвардия», 1976)